

## Пауль Ноак

### Политическая карта Германа Гессе

История признания творчества Германа Гессе – это выдающийся пример изменчивости вкусов и понимания читающей публики, причем это касается не только отдельных читателей, но и целых читательские слоев, пластов времени, смены интересов и взглядов. В течение всей своей жизни он, во-первых, выделялся как собирательный образ молодежи, страдающей под школьным игом кайзеровской империи. Во-вторых, в период «Степного волка», 1927, он был ранним выразителем критики в духе сегодняшнего гражданского общества. В-третьих, еще в 1922 году он перешагнул границы Европы и проложил путь своей индийской поэмой «Сиддхартха», а потом написанной через десять лет повестью «Путешествие в Страну Востока» в мир древней восточной мудрости. В четвертых, своей «Игрой в бисер», появившейся в 1943 году, он указал спасительный выход из саморазрушительной *vita activa*, приведшей к двум мировым войнам. Таким образом, он стал – и это в-пятых – кумиром «детей цветов» и хиппи шестидесятых годов. Во всяком случае, его образ всегда, так это кажется сегодня, стоял перед глазами каждого, кто в одиночку искал путь к внутреннему совершенству, отвечал интересам таких людей и освещал этот путь, на который они ступили, практически не замечая социальных и политических реальностей окружающей жизни.

Именно этому образу обязан Гессе тем резонансом, который вызвало в обществе его творчество. Однако в основе этого заложено недоразумение, если интерпретировать Гессе только так. Конечно, такой Гессе был и есть. Но десятилетиями существует еще и политическая фигура Гессе. Того Гессе, который проявлял активный интерес к политическим течениям своего времени, к государствам, определявшим и активизировавшим мировую политику. Выдвинуть снова Гессе на передний план необходимо уже хотя бы потому, что несмотря на усилия его неутомимого издателя, заслуживающего всяческую похвалу, Фолькера Михельса, вплоть до самых последних лет в отношении Гессе бытовала такая мода, когда его рассматривали как незначительного регионального писателя, уходящего в себя, в какой-то мере ограниченного, отмеченного тем немецким духом, который, опираясь на суждения литературы социологической направленности, расценивали в свое время как почву, подготовившую национал-социализм. В некотором роде Гессе действительно очень немецкий писатель, но в том смысле, как это сформулировал Фолькер Михельс: «Не в последнюю очередь это были, пожалуй, та политическая утонченность и неподкупность, которые имел в виду Томас Манн, когда писал о Гессе: «Нет ничего более немецкого, чем этот писатель и все его творчество на протяжении жизни – не было ничего более немецкого в том старинном, радостном, свободном и духовном смысле, которому это немецкое имя обязано своей самой большой славой и симпатией всего человечества». И в связи с этим не только несправедливо – что в порядке вещей в условиях литературной

конкуренции и к подобной оценке так и следует относиться, – но и просто неверно, когда Готфрид Бенн пишет в 1946 году: «Гессе. Маленький человек. Немецкий мирок, содрогающийся от ужаса, если где-то случается или назревает крах семейных отношений. В юности несколько прелестных, прозрачных стихотворений. Предмет особых забот Томаса Манна. Отсюда и Нобелевская премия, пришедшаяся столь кстати в центре прогнившей Европы».

Хотя бы из протеста я уже пытался однажды выработать основополагающие политические моменты в позиции Гессе. Этот очерк является в некотором роде продолжением и расширением темы: политические константы Гессе, поясненные на примерах окружающей политической действительности, в которой он жил и которая давила на него. На примере его реакции на политические события тех лет можно показать, как эти политические события, история духовного развития общества и критика культурной жизни образовывали в его восприятии единый сплав, который невозможно разграничить на отдельные составные части, но про которые всегда следует помнить и учитывать их.

Примеров и доказательств – множество. Чтобы быть более убедительным, я сосредоточусь далее на его письмах. Письма – это вообще не отфильтрованное выражение того, что человек думает.

Чем политическая карта отличается от физической? Прежде всего, резко очерченными контурами, более четко пропечатанными красками, в цветовых пятнах которых политические формации, называемые государствами, различаются не по своему высокому или низкому уровню развития, не по урожайности или не урожайности, не по понятиям добра и зла, не по капиталистической или коммунистической системе власти, а просто по своим географическим размерам. Границы образуют рисунок, не шраффировка и не штриховка, одним словом, не нюансы, а только лишь четко обозначенные контуры.

Имеет ли политическая карта Германа Гессе такие же отличия от его художественной карты, то есть резкие контуры вместо нюансов? И да, и нет. Политические суждения, т. е. высказывания об обществе как явлении коллективном, о народе, нации, ну, например, типа: японцы – это... Великобритания – это... – включают в себя, конечно, как всегда какое-то обобщение. Индивидуальное (что, собственно, и составляет основную единицу мышления Гессе) легко проскальзывает сквозь крупные ячейки, теряется в общей массе и утрачивает свою особенность.

Может, именно поэтому общеполитический подход к интересующему нас объекту по имени Герман Гессе оказывается несколько неадекватным по отношению к предмету научного любопытства? Нет, конечно. Ибо Гессе – значительная политическая фигура, и то, что он не особенно часто удостоивался чести быть по достоинству оцененным под этим углом зрения (хотя, например, Джозеф Милек в своем вышедшем на немецком языке биографическом очерке не оставляет без внимания ни одного отрезка жизни

Гессе, чтобы не дать ему политической оценки), объясняется прежде всего тем, что часто повторяемое писателем утверждение, он якобы человек глубоко аполитичный, всегда принималось без возражений на веру и никогда не подвергалось сомнению. Гессе – великолепный пример тому, с какой осторожностью нужно относиться к самоинтерпретации творческой личности. Его самооценка покоится на недоразумении особого рода, выражающемся примерно в следующем: чтобы быть неполитичным человеком, достаточно просто не любить политику. Но для такого категорического утверждения одного этого мало. Чтобы все-таки считаться политически заинтересованным человеком, достаточно – и неважно с симпатией или антипатией – систематически уделять внимание насущным политическим и социальным проблемам. И тогда, конечно, не избежать необходимости встать на ту или иную позицию. По-другому и быть не может. В этом смысле Гессе был – как уже сказано – значительной политической фигурой.

Но рисунок политического мышления Гессе можно проследить не только по его политическим или идеологическим пристрастиям. След от этого остался во всем геополитическом контексте. Так что мне хотелось бы в дальнейшем подтвердить документально, каким образом народы и государства нашли свое отражение в высказываниях Гессе, хотелось бы исследовать, насколько он вторил расхожим суждениям, насколько был оригинален и самостоятелен, насколько мог сознательно отделить – и это важно в связи с вышесказанным – духовно-нравственные (как бы не привязанные к месту) ощущения от наблюдений (назовем их эмпирическими) во времени и пространстве. Одним словом, я хотел бы проследить за духовной картой в точках ее пересечения с его политической картой. В связи с этим я буду не столько говорить о таком известном факте, как то, что творчество Гессе в значительной степени пронизано китайскими и индийскими мотивами. В этом отношении интересна, пожалуй – и это как бы первый пример того, что я имею в виду, – его фраза, произнесенная в 1919 году, в которой он культивирует гегуинный взгляд на политику: «Индусы слабы и бесперспективны. Впечатление безусловной силы и грядущего будущего оставляют китайцы и англичане». Не откладывая в долгий ящик, я хотел бы также обратить внимание на два белых пятна на данной политической карте. Они остались незаполненными, потому что могут, во-первых, взорвать, словно бомба, сам доклад, а, во-вторых, потому что уже достаточное количество раз были подтверждены документально. Я имею в виду отношение Гессе к Германии и немцам и отношение Гессе к Франции.

Благодаря цитате относительно Индии и Китая мы впервые получаем документальное подтверждение того, насколько ясно представлял себе Гессе разницу между культурными и цивилизаторскими достижениями того или иного народа и государства и политическими формами его проявления. Подобное наблюдение вбирает в себя не одно десятилетие. Если мы задержим внимание на трех великих представителях Азии – китайцах, индусах и японцах, то с удивлением обнаружим, с какой последовательностью мог писатель

отделять свои духовные привязанности от объективного наблюдения, духовную близость к этим народам от своих политических оценок. Если в 1911 году малайский и индийский миры («Маскарад») – фон, на котором зарождается и укрепляется его восхищение Китаем: «Китайский мир подарил мне удивительное впечатление единства расы и культуры», – то четыре года спустя, в 1915 году, – в полном соответствии с реальностью – ему становится понятным следующее: «Единственные в мире, кому ясна их цель и кто без всяких сантиментов преследует ее, – это японцы». На что он тогда возлагал надежды, так это, что китайцы одержат когда-нибудь духовную победу над японцами, как в свое время греки над римлянами. Этой оценки Японии как страны с менее оригинальной, но более пробивной и способной постоять за себя культурой, Гессе придерживался, опираясь на факты, на протяжении многих десятилетий, частенько к тому же с явно примешивающимся негативным акцентом. Наконец в 1962 году он делает запись: «Япония с невероятной жадностью проглатывает все, что мое; тамошняя культура находится в полном упадке». Почти теми же словами пятнадцать лет до этого, в 1947 году, он описывал ситуацию в Китае. И про Китай он писал тогда, что там «всё пришло в полный упадок» и еще: «Скоро все они окажутся в положении, когда придется выражать свои отутюженные чувства и мысли в неких гладких и обтекаемых интернациональных фразах». А чуть позднее он замечает: «С тех пор, как коммунизм, национализм и милитаризм стали братьями, Восток утратил на время свои чары». То, что касается отношений Востока и Запада, это было его последнее слово. Эффект западного влияния интерпретируется им с тех пор в общем и целом как корректировка политики Востока, как ничем не мотивированное навязывание прозападной ориентации, причина которой кроется во властно-политических сдвигах, подготовленных военным переходным периодом 1919 – 1939 годов и закрепленных сбрасыванием бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Задержим свое внимание еще на некоторое время на Китае, и тогда впервые выявится, но отнюдь не останется единичным случаем, насколько интенсивно интересовался Гессе событиями, происходившими на международной арене, корректируя в этот период свои взгляды и наблюдения. Если в 1911 году он писал: «О китайцах можно говорить только как о великом и импонирующем нам народе», то в 1925 году он ставит под сомнение это свое хвалебное суждение, потому что для него, как он сам про себя говорит, «человека, далекого от общественных интересов, их пышный морализаторский уклад остается при всем восхищении чужим». И как конец былых восторгов звучит фраза, написанная в 1955 году: «Китайцы, когда-то мирный и самый известный своими антимилитаристскими заявлениями народ на земле, стали сегодня внушающей страх беспардонной нацией. Они варварски напали на священный Тибет [...], завоевали его и постоянно угрожают ему сегодня, как и любой другой соседней стране».

Так как я исключил из обзора Германию и Францию, то приведу вместо этого несколько фраз из суждений об англичанах и Великобритании. Оценки эти разнятся и порой противоречат друг другу. В общем и целом, он восхищается британцами, во всяком случае, до начала Первой мировой войны. Но с приходом гитлеровского режима происходит перелом. В 1938 году он закликает Англию, призывая ее, глядя на Третий рейх, признать наконец-то истинное положение вещей на мировой политической арене. В свете Мюнхенского соглашения и британской политики «умиротворения» у него наготове для тогдашнего британского премьер-министра Чемберлена определение «старый осел и подрывной элемент», кстати, полностью соответствовавшие тогдашнему положению вещей в Европе. Позднее, в 1946 году, он все же защищает англичан от упреков в их адрес, что победители обращались с Европой «бездарно и бездушно». И в том же году он констатирует: «По-человечески благородные и благодарные слова с давних пор можно было слышать разве что только от англичан». Мы видим тут следующее: его неприятие британского морализирования и его восхищение их гуманным, европеизированным прагматизмом на длительное время сохраняют свое равновесие.

Несколько по-иному относится он к американцам и самим Соединенным Штатам – неприязнь и враждебность прослеживаются во всех высказываниях, сделанных Гессе в отношении Америки как единой нации и американцев как народа с их американским образом жизни и американской психологией в политике. Чтобы не быть несправедливым к Гессе, следует констатировать, что при этом отрицании Америки и американцев речь шла о критическом отношении к параметрам их культуры и необходимости уменьшения антикультурных проявлений общего плана. Короче, в Америке Гессе не видит ничего другого, кроме как, во-первых, переходящего всякие границы неправильного отношения к Европе, и во-вторых, если Европа не хочет потерять своего лица, это представляет для нее угрозу. «Американец» крайне редко мелькает на горизонте интересов «европейца» Гессе, так что и упоминание о США тоже встречается не часто. Но стоит этому произойти, это носит, как правило, отрицательный характер. С другой стороны, еще до Первой мировой войны известны его высказывания, в которых он делает резкие разграничения между тем, что он вообще не может принять в американцах, и всем тем, что означает для него подрывную американскую деятельность в отношении Европы, от чего он решительно предостерегает. «Американцы – это такой народ, который со временем проглотит нас». Наивность и бездуховность – вот те определения, которые начиная с двадцатых годов повторяются вновь и вновь. (Причем, к слову говоря, в «Степном волке» Гессе как раз обращается к ингредиентам американской культуры – джазу и кино, – сохраняя при этом двойственное к ним отношение).

Во всяком случае, в 1929 году Гессе находит, что современный немец по своей бездуховности кажется ему «еще неприятнее, чем американец», потому

что еще кичится при этом своими культурными традициями. В 1930 году он неожиданно добавляет, прибегая к модному тогда феномену «писем по кругу», якобы инспирированных американцами, рассуждение «о невероятно наивной и по-детски необузданной духовной и эмоциональной манере американцев, в высшей рафинированных по части финансовых дел и современной техники, остающихся однако в сферах религии, морали и духа на уровне трехлетнего ребенка». Этот не конкретизированный и основанный на предрассудках выпад имел потом политические последствия. Ибо только этим можно объяснить, почему Гессе после 1945 года так мало доверял такой мировой державе как Америка, когда речь шла о новом устройстве Европы. Его предубеждение находило свои формы выражения в утверждении, что американцы, по-видимому, вообще не знали, что они собираются делать или что им следует предпринять в отношении Европы. Еще до окончания войны, во время Ялтинской конференции, он пишет: «Когда я читаю, как американцы собираются распорядиться будущим Европы, мне приходит на ум изречение Конфуция, найденное мною у древнего китайца: уж не тот ли это, кто знает, что делать этого не следует, и все же делает это? С той только разницей, что американец не имеет ни малейшего понятия о том, что он предпринимает нечто такое, чего делать «не следует». Обе эти цитаты не единственное свидетельство в пользу его предрасположенности к коммунизму с анархистской окраской. Из этого же произрастает неприятие той капиталистической системы, в политике которой доминируют крупные банки, что и является характерным для США. И этим же объясняется, что США для Гессе ни на каком историческом этапе недостойны хвалебного упоминания. Америка была и оставалась для него страной сверхоптимистического, в высшей степени стандартного стиля жизни, который – как это показал пример «писем по кругу» – распространился уже на все сферы жизни, став господствующим и в политике. Это относится и к тому «идиотскому поклонению молодежи и подрастающего поколения, с восторгом взвизгивающих на процветание Америки» (1948). В январе 1946 года он оценивает это, как «хорошо организованное нападение варваров на умирающую европейскую цивилизацию», и находит для критики в адрес Томаса Вулфа соответствующее определение: он «слишком по-американски, слишком по-юношески опьянен собственным миром и его динамикой». С увеличением возраста резкая критика, направленная против конкретного времени и политики культуры, переходит в прямую политическую позицию. Она особенно подкрепляется страхом перед опасностью будущей атомной войны и резко возросшим антисоветизмом маккартистского толка. «В Америке, – пишет он в письме 1955 года, – люди, которые выступают в защиту мира и разума, подвергаются таким же гонениям, как и у вас». Несчастливым образом его отрицание Америки усиливается из-за того, что в середине сороковых годов он ввязывается в ожесточенный спор с писателем Гансом Хабе, тогдашним представителем американской пресс-службы, что только значительно усилило его принципиально антиамериканскую позицию. Самое большее, на что он с тех пор решился, было его высказывание в 1961 году, практически незадолго до

смерти: «К счастью, даже сегодняшняя Америка демонстрирует наряду с другими странами более или менее привлекательные черты».

Если антикапиталистические настроения Гессе, что не вызывает никаких сомнений, существенно окрашивают его позицию по отношению к такой великой державе как США, автоматически встает для того исторического времени антагонистических отношений между мировыми державами другой вопрос: как относился Гессе к Советскому Союзу? И хотя его критическая позиция подпитывалась, с одной стороны, неприятием капиталистического устройства мира вообще, а с другой стороны, была направлена против любой формы тоталитарной власти государства – («Неприличная полнота власти портит человека, неминуемо»), – тем не менее к СССР он относился терпимее, чем к США. Это не означает однако, что по отношению к СССР как государству он занимал не столь критичную позицию, как по отношению к США. Так в 1956 году он подписывает, что делал крайне редко, одну из политических резолюций против вторжения советских войск в Венгрию, не без того чтобы дать выход своей критической оценке соотношения духовных сил и власти: «В принципе я всегда старался избегать участия в таких акциях, так как извечно повторяющиеся призывы и протесты безответственных подписантов по разным политическим поводам свидетельствуют только о бессилии разума, а частым обращением к такой акции ставят еще больше под сомнение и так сомнительную ценность подобных манифестаций». Второй упрек, относительно «неприличной полноты власти», относится и к той, и к другой державе – и к СССР, и к США. Если относиться индифферентно к антипатии Гессе в отношении Америки (США как символ капитализма), то следует обратить внимание, что он, всегда стоявший на позициях ближе к идеалу «социализм с человеческим лицом», никогда не предавался безграничному прославлению государственного социализма в СССР, как это было модно в среде интеллектуалов в тридцатые и сороковые годы. Он наверняка чувствовал себя неуютно в их среде и тем самым только отягощал свою собственную жизнь. Примером такого отчуждения может служить письмо 1922 года, в котором он пишет одному своему швейцарскому другу: «Для меня, например, жизнь бюргерской среды Цуга, в которой вы обитаете, по меньшей мере так же фантастична, чужда и непонятна, как и жизнь в Советской России». И тем самым Советская Россия также олицетворяла собой высшую степень крайне чужого для него общества.

Безоговорочное неприятие США объясняется еще и тем, что оттуда доходило то, что косвенным путем затрагивало его собственные жизненные интересы, а советская действительность, напротив, была так далека, что воспринималась почти как экзотика. Но он всегда сохранял по отношению к советскому волеизъявлению мира крайний скептицизм. Когда после Второй мировой войны его пытались вовлечь в коммунистическое движение борьбы за мир, он от этого регулярно отказывался: «Я не являюсь другом Америки и не являюсь сторонником войны, но я не сочувствую лжи и непристойным методам

в политической борьбе» (1951). И – как он писал в 1950 году – он не станет сражаться «ни за Трумэна, ни за Сталина», лучше погибнет с миллионами других людей, у которых отняли право на жизнь и на то, чтобы свободно дышать. Он выступает даже против знаковых символов времени, прославляющих Америку за то, «что она уничтожила Гитлера, но замалчивают, что она позволила вооружиться России и открыла путь к мировому коммунизму» (1951). Вынося это суждение, он не в последнюю очередь имеет в виду судьбу Румынии, откуда была родом его жена Нинон; подобные двойственные оценки советской действительности встречаются у него сплошь и рядом. Ну, например: видимое и зафиксированное на бумаге раздражение Гессе против США имеет свои причины, поскольку он видит в этой стране восходящую и исключительно опирающуюся на технический прогресс новую властительницу жизни, которая, являясь плотью от плоти старой Европы, окажется потом значительно могущественнее нее и будет представлять собой гораздо большую угрозу старым европейским традициям, чем СССР. А они, эти традиции, являются для Гессе, несмотря на все оговорки, средой его обитания и побуждают к желанию жить. А это значит: инстинктивная неприязнь к Америке и страх перед угрозой уничтожения Европы – две стороны одной медали.

Этим самым я подхожу к последней главе: отношение Гессе к Европе – и если это можно так назвать, – к шансам самой Европы. (При этом я хочу показать, каким самым подробнейшим образом, прежде всего, перед началом Первой мировой войны и после ее окончания связывал он закат Европы с просчетами старого континента.) Позиция Гессе как посредника между западным Просвещением с его одобрением крайнего индивидуализма и восточным, покоящимся на медитации релятивизмом с его оценкой индивидуального – «во всех прекрасных, тихих, пассивных добродетелях Китай превосходит всех» (1915) – отчетливо проявляется в осуждении своего континента и населяющих его народов. С одной стороны, он нападает на неспособность Европы навести у себя порядок в мыслях. В 1917 году, в разгар мировой войны, он выступает против «европейца» Ромена Роллана: «И «Европа» для меня не идеал – пока люди убивают друг друга под предводительством Европы, любая классификация людей кажется мне подозрительной». С другой стороны, его рано стали посещать настроения конца света. Еще в полном расцвете сил он пишет: «Я уже давно предчувствовал упадочнические настроения в Европе». Но это сказано не с удовлетворением провидца, а с ностальгией представителя грядущих поколений. И когда он в 1956 году пишет: «Мы сидим на прекрасных обломках нашей западной культуры предположительно как одно из последних поколений», – это еще не последнее его слово. К этой гибели у него было крайне противоречивое отношение, испытывавшее на себе заметное влияние Освальда Шпенглера и колебавшееся между проникновением и пониманием видимой исторической необходимости и протестом против такой незавидной судьбы. Гибель Европы – для него, с одной стороны, часть мирового стиха Гёте «Умри и возродись» («Блаженное томление»), о котором в письме 1920 года в напоминание другим



сказано: гибель Европы – «это, конечно, не дело землетрясений, или пушек, или революций, это для каждого индивидуально момент сказать «да» отмиранию старых и зарождению новых приоритетов и идеалов». В рамках этой непоколебимой убежденности он теряет с началом Первой мировой войны «веру в лучшее будущее», а мировая история представляется ему «постепенным распадом божественного порядка», он даже пишет: «Мировая история – это взбесившаяся баба». Однако, это не помешало ему заново открыть для себя ту самую Европу, что не могла быть для него идеалом, «пока люди убивают друг друга под предводительством Европы» (1917), а особенно в конце своей жизни и вместе со всеми теми идеалами, представителем которых он являлся. Откуда такая, если можно так сказать, реконверсия Европы, распознать не так-то просто. Вероятно, то была реальная военная угроза Европе и исходящая из нее угроза той форме жизни, с которой писатель чувствовал себя гораздо теснее связанным, чем предполагал все эти десятилетия. Она и произвела такой эффект, что возможная утрата старого континента, приближение которой он почувствовал, заставила его сильнее, чем прежде, задуматься о ее цене. И необходимость этого стала формой его политического мышления, благодаря чему вновь окрепла связь между ним и Европой. Возможно, в последние десятилетия своей жизни Гессе осознал, что формы духовной жизни тоже нуждаются в реальном политическом окружении, в котором им будет дозволено процветать и развиваться. Надежды 1917 года («ex oriente lux») на обновление за счет духовности Востока – «на развалинах культуры, на которых мы сегодня стоим, будет произрастать религия, искусство, и вещи голоса позовут нас повернуть вспять, обратиться на Восток, к Лао-Цзы и Христу» – все же утратили для него после двух мировых войн из-за изменившихся политических обстоятельств на земном шаре былую реальную силу.

К этому добавилось и наступившее разочарование другим миром, неевропейским, как Советами, так и американцами, что побудило его сказать в 1946 году: «Теперь то, что уцелело от Европы, будет сравнено с землей США и русскими. Я надеюсь умереть, не пойдя ни в малейшей степени на уступки этим державам» (1946). Он этого и не сделал. В итоге из уставшего от Европы и убегающего от нее на Восток писателя он опять стал тем, кто взял на себя миссию, достойную Европы, облек ее в словесные формы и увидел в ней будущее старого континента. Прекрасное свидетельство тому мы находим в письме 1945 года к Томасу Манну: «Европа, какой я ее вижу, не будет старым шкафом воспоминаний, а станет новой идеей, символом, мощным духовным центром, как для меня идеи древнего Китая, Индии, Будды, кунг-фу не просто приятные воспоминания, а и сегодня наполнены самым большим реальным смыслом, силой концентрации духа, житейской мудрости, какие только могут быть». Европа обретет вновь свое назначение. То, что нам сейчас кажется равновеликой ценностью, приобрело через месяц после окончания войны более акцентированные формы выражения. Собственно, во всеуслышание было высказано опасение, что утрата Европы как самостоятельной силы будет

означать в итоге гораздо больше, чем просто замена одной власти другой. «Если Европа действительно будет потеряна и от нее останется только одно воспоминание, – пишет он в то время, – тогда придет конец и гуманизму. В принципе я никак не могу в это поверить». Это приводит к тому, что в 1945 году он напишет: «Я вновь обнаруживаю, впервые после многих десятилетий, признаки национального духа в своей душе, правда, это не столько немецкий, сколько европейский национализм». Это и есть то, что я имел в виду, когда говорил о двойственности понятия преданности Европе и протеста против нее, всего каких-то пять-шесть лет после вердикта, фатальнее которого трудно себе что-либо представить: «Я рассматриваю процесс распада государственной морали и политику насилия как неудержимый процесс, я не думаю, что какая-нибудь нация или конституция в мире может рассчитывать на спасение и гарантии от насилия» (1940). История преподнесла ему, не видевшему в перспективе ничего, кроме нацистского режима, добрый урок.

Вера в европейскую перспективу, европейский шанс, историческое предназначение Европы стало последним словом для того, кто в свои молодые и зрелые годы обратился к жизненному опыту за ее пределами, потому что думал, что задыхается от всего, что окружало его в Европе. Ибо – я уже говорил об этом – в последние годы, будучи стариком, он столкнулся с горьким опытом, что касалось Китая, да и той же Индии. Это удивительно, что до последних дней своей жизни он не замыкался от происходящего в мире и продолжал следить за тем, как национальный дух народа и политика государства расходятся в своих путях, и радовался, что реальный мир одерживает победу над идеальным, а европейское начало утверждает при этом свое первородство. Он оставался твердо убежденным в необходимости примирения Востока и Запада. И для него, одного из тех первых специалистов, которых мы называем сегодня экологами, угроза уничтожения всего живого на планете все чаще становилась страшным видением. Но это уже совсем другая тема для разговора.

Подводя итоги, мне хочется сказать о двух важных для меня выводах. Первый заключается в следующем: удивительно, как при отслеживании и вынесении суждений относительно политических течений и идеологий мы вновь обнаруживаем, что Гессе на протяжении десятилетий (возможно, за исключением лишь самого раннего периода формирования) постоянно наблюдал за ареной национальной и интернациональной политической борьбы, следил за развитием международных отношений, не будучи, естественно, профессионалом, а только живым внимательным наблюдателем. При этом предвзятость редко – за исключением разве что отношения к США – перевешивает у него здравый смысл, опирающийся на его прямой или косвенный опыт. Второй вывод: оценка государств и наций всегда соотносилась у него со временем, потому что из времени он ее и черпал. За исключением США – как я уже сказал. В этом случае он всегда ощущал угрозу – из-за особого, как бы перверсионного родства, тогда как многие другие государства и народы он прекрасно понимал и ценил именно благодаря

поляризации духовных структур. И именно благодаря размышлениям Германа Гессе над политической картой мира можно прийти к заключению, что оценка этого писателя как аполитичной фигуры покоится на недоразумении и что его политическая карта складывается из гениальных компонентов мировой политики.

© *Paul Noack*